

Темно в избе. Теплом печь дышит. Зимняя рама еще не вставлена, и слышит Токна, как шелестит трава за тонким стеклом, как шиповник царапается в стену, как ветер посвистывает. Ползет капля по стеклу. И вдруг — ровно шаги, тихие, осторожные. Подошел кто-то, постоял, о стену опершись, вздохнул печально и тихо.

— Кто кодит? — спросил Токна с кровати.

— Никола-бог ходит, — внятно ответил голос. Дерево скрипнуло. Зашелестела трава под окнами.

— А чего кодишь? — спросил Токна.

Не ответил никто. То ли ушел, то ли стоял у прясел, на реку смотрел. Выглянул в окно Токна — никого не увидел. Темно. Река едва-едва звездным светится. Снова лег Токна, думает, плохо без собаки. Собака — уши дома. Но не боится Токна, так просто про собаку думает. Дверь на завертушке, окно узкое, а он старый, а старому — чего бояться? Уснул Токна, подsunул ладошку под щеку и уснул. Приснилась бабушка Маша: сидит за швейкой, заплатку ставит и говорит:

— Вот такой у вас батюшка! Сама не знаю, пошто вас так называет? Петко, Санко и Тохна!

— Токна! — повторяет он во сне и улыбается.

— Вот непутевый! — смеется бабушка Маша. — Тохна, Тохна ты! Отчего «х» не выговариваешь? Скажи: х!

— К! — повторяет Токна и заливается. И Петко, и Санко тоже смеются.

Утром, часов в шесть, светлеет, несмело, робко. Токна уже по избе ходит, день наставляет. Топит голландку-печь, варит в чугуне картошку. Заливает овсяные хлопья крутым кипятком. Соли-сахару щепотку — вот и каша под крышечкой готова. На крыльцо выходит Токна, черпает ковшом воду из бидона, цедит ледяную тихонечко, во рту катает. Ломит зубы, лоб холодом давит. Льдинки о край бидона бьются, толкутся стеклышками. Качается в стеклышках небо. Радуетса Токна: ведрие, дождя не будет! В деревню-то невесело под дождем ходить. Каша поспела, чай поспел. На медный поднос — приданое бабушки — ставит Токна еду, во двор выходит. Сидит на лавице. Скребет ложка по алюминиевой миске, подбирает кашу. Пар над кружкой вьется. Соль подмокла, и солью подмокшей хлеб пахнет. Над горой небо серое, над Истоками — синее, холодное. С листвы вся иголка рыжая на землю упала — снег близко, да все не идет. В прошлом году шугу несло, по всему берегу шуршало, а сей год запаздывает! Как понесет шугу, впряжется Токна в веревку, поволочит на гору лодку-осиновку. Одна! Одна на все деревни осиновка у Токны осталась. Сядешь в нее — до воды ладошка, а ходкая! На воде — как перышко! Пока свой моторчик заводишь, пока прогреешь, пока на поводь шестом выправишь — Токна на осиновке уж Пинегу перебежал! Сидит в корме Токна, веселко слева-справа ходит. Гребет, спина прямая, глаза от воды блестят. Лавочка скрипит, косточка в плече у Токны в ответ поскрипывает. Жалуются друг другу: старые стали!

Доскребает кашу Токна, пьет чай, греет о кружку пальцы. Корочку хлеба на столбик кладет. Прилетит сорока, обрадуется. Ешь, сорока! Кто еще хлебушком тебя угостит?

В десять одевается Токна, будто на праздник пойдет. Переменяет рубаху, старую, вылинявшую на плечах и лопатках,

на новую, в клеточку. Штаны достает синие, выходные, шуршащие. Сапоги зеленые из ЭВА натягивает, курточку стеганую на вате. Бьет кепкой о коленку и на голову устраивает. Рюкзачок на плечи — вот и все! Готов молодец!

В гору на околок, там полем и рощей, четыре ручья, четыре моста, два крестика оветных, один лес да снова деревня — поселение! — а в деревне — лавка, а в лавке — хлеб! Возьмет Токна хлеба, масла соленого, красноборского, пряников да сухариков, чаю черного, широколистного. И слава Богу! Рыбка-то своя есть — в речке плавает.

Продавщица Светлана Токне радуется:

— Пришел, так чего мало берешь? Бери водочки!

Токна виновато глядит на вино: полки широкие, какого только нет! И говорит, будто оправдывается:

— Так я давеча брал, Света, да все и не попробовал!

— Не попробовал? — изумляется Света. — Ни стопочки?

— Не попробовал, да мне и так корошо. С кем пить-то? Не одному же?

— Тогда молока возьми, — предлагает Света, — хорошее молоко, долгоиграющее!

Токна, чтоб угодить, берет, потом садится на табурет у печки, всем головой кивает, кто ни зайдет, всех слушает. Сразу видно: соскучился! Господи, людей-то сколько! Вот тут-то вся и жизнь!

Предлагали Токне домик в деревне: все одно пустой стоит! В деревне с людьми, все вместе, все рядом. Посмотрел он домик, посидел на железной пружинной кровати, поглядел на углы, пустые они, чужие, открыл дверцу и в печь заглянул, а там и угли не те, не родные. Вдохнул горько и ночью к себе ушел, чтоб не увидели. Родное-то разве предашь?

Час-два сидел Токна, все новости вызнал, а уж в третьем домой задаваться надо, по солнышку-то весело идти! Листва слетела. Сквозисты, черны рощи, не птицами — сквозняками полны. В тени трава смерзлась — не отошла с ночи, блестит, как солью посыпанная. На крыльце почтовом Виктор сидит, следит, как подходит Токна, протягивает ладонь, тяжелую, мягкую:

— Догнала меня водочка, отдыхаю... домой?

— Домой! — отвечает Токна. — Куда ж мне еще?

На почте спрашивает:

— Клавдиевна! Есть ли мне письма?

— Пишут тебе, Толя, еще пишут! А от кого писем-то ждешь?

— Думал Санко напишет или Петко.

— А ты им позвони, Толя! У тебя же мобильник есть!

— Не отвечают! Звоню-звоню — не отвечают. Может, симку сменили или умерли?

— Газеты купи! Газеты новые привезли! «Аргументы».

— Да ведь у меня телевизор есть! Ты лучше мне овсянки дай. Первого номера. Я пачки три возьму.

Душно на почте. Окна плачут. В печке железной, круглой, как бочка, головешка чадит. И все вокруг синенькое: синяя стойка, синие полки, синий сейф в углу, даже двери и матница синие. И от синего грустно Токне и неловко отчего-то.

— Давай и «Аргументы», почитаю! — говорит он. — И батарейки для фонарика.

Она склоняется к компьютеру, морщится, елозит по столу мышкой. Личико становится бледным, усталым, в морщинках капельки светятся, и прядочка крашенная ко лбу прилипла. Чего так печку топит?

— Как ты там, Толя? — спрашивает она и подает в окошечко сдачу.

— Корошо.

— Да где хорошо-то? Все один да один. Вот не взял меня за муж!

— Да ты ведь мала была.

— Да и ты помоложе был...

На краю деревни у крестика Токна останавливается. Глядит печально за спину, на дорогу, на избы, на почту с белой тарелкой. Мечтает, дойти бы скорей до дома. Дома хорошо, дома ладно, дома уж как-нибудь...

Идет Токна, прижимает к груди пакетик с молоком. Бьется молоко в картонные стеночки, будто сердце в ладонь бьется.

Набрякли ручьи болотной водою, шумят в режах под мостами, песок несут, траву дергают, твердую, осеннюю.

— А дома лучше, — с мягкой грустью уговаривает себя Токна. — Господи, воды-то еще сколько! — думает он и удивляется. —

Бежит, бежит, как весною, все успокоиться не может. Конец октября, а снегу и не выпадало! Вот разве ведрие сейчас, так не ко снегу ли?

В лесу тише, темнее. Листья осины толсто лежат на тропе, тяжелые, широкие, сырые, желто-рыжие, и все от них светится золотым и рыжим: и стволы, и сучья, и мосток через ручей. В ямах, где брали глину, вровень вода, чистая, прозрачная, как промытое дождем стекло. Токна обходит холодные ямы и косит глазом, нет ли где гриба, красноголовика? И тихо-тихо, хоть бы синица пискнула. Оветный крестик белеет полотенышком. Монетки ржавые на перекладинке. Иконочка под стеклом истлела.

Остановился Токна, надорвал уголок пакетика, отпил молока на глоточек. Потом еще и еще глоточек. Представил, перельет в банку, и будет молоко в чистой банке на столе стоять, белым светиться. И хорошо будет, уютно.

Повернула тропа направо, запетляла вниз к луговому свету. Веяло оттуда травяным и солнечным. И когда запах подсохшей земли дошел до него, обрадовался Токна, зажал пакетик и на свет кинулся. Вспугнул зайца.

Распахнулся лес. Встал Токна, как на пороге, и шагнул вперед с облегчением и в радостной устремленности. И шел Токна дорогой, и часть его пребывала в радости, а другая была в недоумении и в горечи, как сон казалось то время Токне, когда в каждом доме жили. Там свадьбу играли, там низку сновья изладили, там пела Панечка над внуком: «Егореюшко мой, серебреюшко...» И везде был Токна, говорил со всеми, работал со всеми, песни пел долгие и пиво пил сладкое, за реку перевозил, и — вдруг один остался. А голоса звучали...

— Господи Иисусе, помилуй мя! — прошептал Токна и вздрогнул, осознав, что повторил нечаянно слова бабушки Маши. Далеко внизу, за травой, за сосенками виднелась крыша его избы, и свернул к ней Токна, напрямик побежал, рвал ногами траву густую, думал, не выдержит сердце, однако осилил...

Здесь, на прибрежине, поставил избу Токнов дед. На самце носком топора вырезал год 1928 и рыбку тоненькую с усиками, гыча. Ибо был дед из рода Гычей, и все его прадеды, и все его сыновья и нерожденные внуки были и будут Гычами. И Токна тоже

был Гыч. И на каждом весле и на каждой деревянной лопате вырезал Токна юркую рыбку с усиками. А пошто они все были Гычами, Токна не ведал, спроси чего полегче. Вот и избу, на то и Гычи, у самой реки поставили.

— Льдом собьет, сроет! — говорили люди с горы.

Да вот не срыло! Глядел дом всеми девятью окнами на реку, и было в нем бело от водяного холода и блеска, будто рыбьей чешуей светился. Клецком, поправлял Токна. И не росло у дома ни куста, ни березы — не желал старый Гыч, чтоб простор заслоняло.

Дома на горе все на лес смотрели, на сузем сырой и темный, врастали дворы друг в друга жердями прясел, заплотами, черемухой смердливой, малинниками да смородой, запахивались дымами и горечью бань по-черному, сплетались голосами да песнями. Было ли? Был мир — не стало мира. А он, Токна, живет... зачем?

Пьет Токна чай на лавочке. Вода в Пинеге, как стеклянная, не шелохнется. И глубока тишина осенняя. Далеко, в верстах двенадцати, заревет, забубнит водомет, оторвет баржу от красного берега, за реку потащит. Людей повезет, машины. И думает Токна, какая земля большая, из конца в конец спешат люди. А у него вся бродня — на болото да в лес, да в деревню за хлебушком. А уж за рекой не помнит, когда был.

Деревня Токны уродилась небольшая. Семь дворов. Околок. И населяли дворы Голуби да Медведи, Галицы да Пестряки, Сушонки да Конды, был дед Кочерга да Токна из рода Гычей. У каждого рода в деревне свое прозвище было. Богата была в старину деревня! Любая девка мечтала, чтоб Голубь или Медведь к ней посватался. Да и Пестряку и Конде была бы рада, не отказала. А Машенька Кокорина за Гыча пошла, рыбку любила, и подарил ей молодой Гыч сережки серебряные, чусы, по-нашему. Светилось в чусах зерно жемчужное, меленькое, речное, как молоко с голубикою. Ахнула Машенька и приняла Гыча. И имя новое приняла, Чусой прозвали. За сережки серебряные. А была она с вершины, с Печища, из рода Крюков, которые никогда прямо не ходили, а крюками только, за деревнею.

Весело жили, робили трудно и много, пиво варили, у ручья общественная пивоварня была. Но то, что бывалоча, не то, что теперича. Торчит из сухой травы пивной котел, разъехался, пустив трещину сверху до самого доньшка. Вот так и жизнь пустила трещину, и вся сила через трещину вытекла, выцедилась. Не зажмешь ладонями.

Перелил Токна молоко в баночки, сголубело оно, утихло. Одну на холод вынес, прикрыл сверху блюдечком.

Поглядел на Пинегу: холодно, сине. Час-другой и в сумерки. Забухмарится. Из-за леса туча вылезет, как полохоло. Горе, горюшко гороховое...

Токна дожевал на лавице размоченный сухарик, отрянул со штанин крошки, оперся на колени, угнездил в ладонях, как в чаше, круглую голову и замер. Заходил ветер, закачалась лодка. Ворона прилетела, стала бродить по слуде, переворачивать клювом плоские камешки. Трава зашелестела, словно дождь мелкий по траве пошел. И задумался Токна. Очнулся — подошел кто-то, рядышком сел. Покосился Токна: худой, горбатый, скулы-то так и выперли, бородишка седенькая, там густо, здесь пусто, и глаза светлые, серые, как вода в Пинеге. Руки тяжелые, длинные, казанки белые, как восковые. Жилочки голубенькие промеж них тянутся. На голове шапочка вязаная. На плечах, уж бог знает что, плащик — не плащик, накидочка, на груди веревочкой стянутая.

— Здравствуй, Анатолий! — сказал нежданный гость. И не удивился Токна: все его знали. Любого спроси, и любой ответит: «Перевозчика-то? Знаем! Жив ли еще?» «Жив, — ответишь, — да перевозить только некого!»

— Перевезешь ли меня на тот берег?

— Чего ж не перевезти, — ответил Токна. — Лодка, вон она, под берегом. Весла только взять надо.

Не хочется Токне вставать, думает, еще чего-нибудь гость скажет, а тот молчит, на тот берег смотрит. Шевелит ветер его бороду, вороток у накидки треплет, полы свивает.

— А то пойдем, — предлагает Токна, — чаю выпьем.

— Да и рад бы, — устало улыбается гость. — Да только мне на тот берег по свету надо. Попьешь с тобой чаю, опять слабости поддашься, а мне нельзя.

— Какая слабость чай? Я же не водку зову пить! Не видал я тебя раньше! На нашем-то берегу чего управлял?

— На гору к вам ходил, храм навещал. Давно поглядеть мечтал. Прадед мой у вас дьячком служил. Матвеем звали. Слышал ли про такого божьего человека?

— Не, не слышал, — тряхнул головой Токна. — Ни дед мой, ни бабушка моя Чуса Матвея твоего не поминали, видно, и для них давно было. Тебя-то самого как звать?

— Авенир я, — ответил гость.

— Авенир, — повторил Токна. — Не знавал я такого имени.

Вздыхнул и пошел за веслами. Сначала в избу заглянул, сунул руку через порог, снял со спицы куртку, шапочку поглубже натянул на уши. На крыльцо вышел. Сидит Авенир, ссутулился, ждет Токну, ногу отставил — болит что ли? Да у кого кости в лета такие не скрипят? Не ноют, едва почуввав сырость и ветер? Вот и у Токны спина со вчера к погоде болит. Вспомнил, как дед усмехался: «Тяжела погода! Уж поднимали, поднимали, а поднять не могли!»

Нес Токна весла, одно длинное, перо узкое. Другое — легонькое, короткое. Спустились к реке молча. Слуда широкая, желтая, как кость алебастровая. По воде рябь идет — спустился ветер. А за рябью гладко, чисто, и в чистом облако отражается. Коротко взгремели о лодку весла — испугался куличок грому, побежал, замахал узенькими крылышками.

— В корму пока сядь и за оба борта держись! — велел Токна. — Вдруг вильнет, спихивать буду.

Раскатал новые бродни до самого верха, закрипел ненадеванной резиной, согнулся, уцепился левой рукой, правую руку глубоко вниз, растопырив пятерню, подсунул, обхватил острый нос осиновки.

— Ну! — выдохнул. Зашуршала осиновка по слуде, по колышку круглому и сошла полностью в воду. Токна и сам в реку сошел, удерживая, развернул лодку, как надо, и велел пересесть Авениру не в середину, а на шаг ближе к носу. Затем повел осиновку туда, где слуда вглубь обрывалась. Журчала вода. Как перышко, скользила осиновка. Наконец, Токна протолкнул ее вперед себя и в корму на ходу запрыгнул. Тут же, сидя, подхватил коротенькое весло, улыбнулся весело, будто вина выпил, и почал



грести, споро, наискось, поперек течения. Из-под берега вышли, обняло холодом, широким, ровным, да весло грело. Река распахнулась и цвет поменяла. Прежде у берега вода бежала желтая, чайная, густая — все из-за ручьев, а теперь чистенькая побегала, беленькая. Над косою пошли, Токна перестал грести — само выведет! — так в прозрачности видно было, как текут, перекатываются песчинки по зыбучему дну, посверкивают на солнышке. Ударил Токна веслом о край заструги, подвернул лодку и пошел махать слева, справа, забрасывал весло и словно подтягивался к нему, веселый, раскрасневшийся. Взмокла сразу рубаха под курткой, рванул ворот и греб теперь только слева, чисто, сильно, забираясь в вершину, и вдруг неожиданно положил весло поперек колен, выпрямил напряженную спину, блеснул гордо глазами:

— Все! Пускай само волокет! Видишь, Авенир, кол? Вот к тому колу само и притащит. Задубел?

— Ничего, — скромно ответил Авенир и стал глядеть молча на левый берег, где виднелась изба Токны, где рощица, сбегаящая вдоль ручейны к реке, озарялась посередине верхушкой золотой осины. Выше, над деревней, тянулась к небу церковь, как веточка сломленной ели.

А Токна с любопытством разглядывал Авенира: «И волос под шапкой густой, сивый. Нос переломлен. Откуда пришел? Зачем? И поклажи с собой нет, ни сумы, ни мешка...»

Жарко было под шапкой, Токна стащил ее, взъерошил горячие волосы.

— А что пустой-то?

— А все со мной, — ответил Авенир. — Зачем мне?

Отпустила река лодку, пошла медленней. Токна встал в рост — не боись, не опружистая! — расставил ноги, воткнул в воду длинное весло, нашарил дно, оттолкнулся, протянул лодку на всю длину, и еще, и еще раз. Глухо постукивало весло о борт лодки, журчала за кормой вода, свиваясь в воронки.

— Сейчас мелко станет!

И вправду совсем близко пошел песок, Токна выпрыгнул, ухватил цепь и повел в поводу лодку. Берег длинный, до самой разлоги песок да пестрый камешник.

— Сиди! — приказал Авениру. — До берега дотяну! — и обернулся. — Осень ведь. Пошто без сапог?

— Да нет у меня сапог, — виновато сказал Авенир. — Не думал...

— Ноги беречь надо.

Уперлась лодка. Авенир в корму перебрался, да что толку: едва продвинулись.

— Ну и что теперь? — усмехнулся Токна. — Разуваться придется. До сухого не допрыгнешь! — и, видя, как засуетился Авенир, сказал: — Ладно! На лавку встань. Давай правую ногу! — развернулся, подставил спину, ухватил Авенирову ногу, потом другую и, краснея, зашлепал по воде, пересек и на камешник тяжело поставил.

— А лодка? — спросил Авенир.

— А что лодка? На мели лодка. Сейчас назад пойду! — И показал рукой: — Видишь веха на разлоге? До нее дойдешь, подынешься и направо иди. Там о берег дорога будет. Дойдешь до нового кола, тропу увидишь. Она тебя к горе сведет, на ней деревня, не видно отсюда, низко! Просто все, не заблукаешь! Поди давай!

— Заплатить надо! — сказал Авенир. — Сколько берешь?

— Да Господь с тобой, поди давай! В радость мне было веслом помахать! Поди, пока не темно! Водит тут на лугу-то. Я на то колы и расставил. Раньше крест был, да водой подмыло.

И точно. Потемнело небо, засинело гуще. Поднялась туча, потащила на хвосте ветер.

— Ангел там, — тихо сказал Авенир и опустил глаза, — в храме стоит. Не видишь его, нельзя видеть, а он стоит. Поставлен на времена вечные престол охранять. Одинокое ему. Ты добрый человек, Анатолий, сходи к нему, помолись — легче ему будет службу нести. Сходишь ли? — и с тоской поглядел на Токну.

— Ладно, — тряхнул головой Токна и оглянулся на реку: нет, тихо еще.

— Пойду я, — слабо поднял руку Авенир. — Пойду. Спаси тебя Бог, Анатолий.

Зашуршали камешки под его сандалиями, запереворачивались. Ветер зарыхлил воду. Песок тек поземкою. Глядел Токна вслед Авениру, развевалась его черная накидка, как крылья. Волочил Авенир ногу, загребал камешки.

Трудно было грести Токне. Ветер покосный сбивал лодку. Да у воды жить да воды бояться? На середине хуже стало. Ветер разворачивал, толкал в спину, и устал Токна, покорился, пошел по ветру, ибо старый стал и силы нет в теле прежней. Желтой воде обрадовался, протолкался в тени берега, затащился на слуду. И уж в темноте слабой прозвенел цепью, на ощупь замок навесил, замкнул. На берег забрался и пошел мглистым желтым от зари лугом. Гудел в проводах ветер. Темными струями текла под ногами трава. И казалось ему, что он все еще через реку перебирается.

«Вот так и снег принесет!» — подумалось ему. И еще подумалось, где-то Авенир идет, да уж по времени, в деревню забрался...

Выхолодило поясницу. В избе зажег свечу, поставил на стол. Опять провода оборвало. Теперь до утра не будет свету. Сидел в дрожащем живом кругу,пил настоящее на избяном тепле молоко, ломал хлеб. Потрескивала свеча, пускала мелкую искорку, отражалась в иссиня-черном окне. И себя он видел в стекле, рыжего, темного, как небо на западе, как сумрак в избе. Ходил ветер за окнами, лязгал желобом. В горе на деревне шатались кусты одичавшей черемухи, дрожали в настывших избах стекла, листали сквозняки выцветшие календари на стенах, вздувались истлевшие занавески. Скрипели избы, как скрипят старые кости. Текла трава между избами. И жалел Токна, что не спросил Авенира, куда он идет? И все виделись глаза его, серые, с жалобой. И как шел Авенир по берегу, волочил раненую ногу, загребал раскатистые камешки...

Затих ветер. Лежал Токна на кровати, прислушивался к осторожным звукам и шорохам. И казалось ему, что дыхание его, стук его сердца, скрип кровати, потрескивание свечи вплетаются в ночь за окном, в шелест травы, в рябь волны, в шуршание ветра. Смешиваются и становятся единым, общим. И он сам — часть этой ночи. Дышит трава, и он вместе с ней дышит, соединяясь с травой общим дыханием...

Проснулся. Догорела свеча. Синенькая точка едва чадила на кончике фитиля. Был второй час ночи. Токна вышел на крыльцо. Хоть бы какой огонек откуда пробился! И даже там, где за двенадцать верст Шатрово, не светилось небо. Сыростью ледяной тянуло с близкого болота, видно, холод по ручейке прошел.

Как вброд, перебрел Токна двор, сел на лавицу. Тускло мерцала Пинега. И беспокойно, смутно было на сердце. «Вот помирать буду, — растравил себя, — и никто воды не подаст, не склонится». Вздохнул тяжело Токна, подождал, никто на тяжелый вздох не ответил. Домой побрел.

Что утро пришло, по занавесочкам догадался, засветились они серенько. Дождь тыкался мягко, сильно, шлепал в окна — теперь до обеда гостем станет.

Дела у Токны простые: печь истопить, поесть-попить приготовить. Токна мало ест.

— Усыхаю понемногу, — так он говорит.

Бреет бороду Токна, глядит на себя в зеркало. Голова круглая. В глазах прежде столько было июньской зелени, а теперь вся она повыцвела. А как были с детства волосы не пойми какие, так и остались: здесь пего, там сиво, и жесткие, прямые, как трава осенняя. И усы такие же: торчат во все стороны, в рот лезут.

— Гыч! Гыч! — кричали ему. А что ему сказать, чего обижаться, если он и вправду Гычом родился. Не нажил Токна ни семьи, ни детей. Ходил когда-то к Кате на пекарню. Придет, конфет принесет. Сядет на лавочку и улыбается, глядит, какая Катя дородная. Мягкая, румяная от печного жарыща, горячая, как хлебушек. Чай пили. Токна и дров наколет, и улицу от снега распашет, и за водой на Никольский колодец сбегает, и говорили Кате:

— Гляди! Хороший мужик-то, безотказный!

И смеялась Катя, закидывала руки за голову, показывала темные, горячие подмышки, рассыпала волосы:

— На что мне пескаря такого?

Уехала Катя. До свидания не сказала. Токна по привычке или с тоски какой в потемне, думал, никто не видит, ходил к пекарне, стоял в растерянности подле пустых ящиков. Хлебом они пахли. Казалось, Катей пахнут. Постоит да пойдет прочь. А потом и вовсе приворачивать перестал, и все реже-реже в деревне его видали. Пекарню, к слову сказать, и вовсе прикрыли. Раскатали по бревнышку и свезли куда-то. Мигом малинник вскинулся, и глядел удивленно Токна на то место, где он с Катей когда-то чай пил, где он Катю любовался. Однолюб оказался Токна.

В полдень Токна собрался в деревню, в свой обход обычный. Да не зашел, а в гору поднялся, где церква стояла. Видна с горы вся Пинега до Черного Яра, луг долгий, урочище, где когда-то деревня была да вся под землю, как говорили, в одну ночь ушла.

Тихо было. Грустно, как всегда, после дождя осеннего. Раздвинул Токна сырую малину, взобрался по ступенькам, дернул на себя затекшие стыlostью двери — стоном отозвались они. Внутри сел сбоку, на пристенную скамью, опомнился, стащил шапку. Сквозь половицы торчали в белых макушках стебли иван-чая. Иконостас, как оконница без стекол, застыл безглазо. Замер, навис над Токною. Думал Токна, бояться будет, и шел с боязливостью, а вышло-то: печаль тихая. Прислонился головою к стене, смял в ком шапку, смотреть стал. На солее жестяночка с песком, а в ней огарочек — вчера ли Авенир свечку зажигал?

Подул в разбитые окна ветер, зашелестел, закачался сухой иван-чай, закланялся. Дождь хлынул. В дырявую крышу закапало часто, гулко, и вздрагивал иван-чай от капель, и думал Токна, не ангел ли прилетел? А потом подумал, нет, не ангел, запрещено ему отходить.

— Порадуй ангела, помолись, — просил Авенир, а как молиться Токна не знал, и бабушка Чуса не научила, только и помнил с детства: «Господи Иисусе, помилуй мя».

— Господи Иисусе, — прошептал Токна, подойдя поближе к амвону. — Господи Иисусе, не умею молиться, не знаю. Все есть у меня, большего и не надо, и ни к чему. Дай здоровья братьям моим, Санко и Петко. Если б письмецо мне написали или позвонили, мне было бы легче. Один я. И сил мало.

Зашелестел снова иван-чай за Токной, и показалось ему, что склонился над ним ангел и крылом обнял. И заплакал Токна, и не знал, отчего он плачет. И не мог ничего с собой поделать.

Шумел дождь. Капало из дырявой крыши на плечи, на колени Токне, и не хотел он никуда идти. А когда отплакалось, сидел на скамье просто. И твердо знал, не один сидит. Темно было от дождя, холодно. Холодны были тесаные вгладь стены. Сырой травой дышало в проем окон. И увидел сердцем Токна, как ночь, тоска безгласная, затопляет церкву, как тьма собирается по углам и под сводами, как тяжело, как больно ангелу

без огня и слова человеческого. И поднял глаза Токна и сказал дрожащим голосом:

— Ангел, я не вижу тебя, но Авенир сказал, ты есть. Пойдем со мной ненадолго, на сколько можно. Хоть в тепле обогреешься...

Шелестели занесенные ветром листья, покачивался иван-чай, тонко-тонко тянулись ниточки дождя с покатою крыши.

Брел Токна домой. Белым светилась река.

И долго-долго сидел Токна перед окном в родной избе, на реку глядел, на дорогу. На поле. Никто не шел. Никто с горы не спускался. Уснул Токна, уронил голову на скрещенные руки и уснул. И снов не видел: так заспалось крепко. А очнулся, увидал на столе перышко, белое, пушистое, теплое. И возвысилось его сердце и занялось радостью.